

Максим Пахотин

Бесперспективный холод. Осколки света

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Максим Пахотин

**Бесперспективный
холод. Осколки света**

«Автор»

2026

Пахотин М.

Бесперспективный холод. Осколки света / М. Пахотин —
«Автор», 2026

Оксана теряет брата на войне и уходит медсестрой в луганский госпиталь — делать хоть что-то, чтобы не сойти с ума. В госпиталь привозят младшего лейтенанта Сергея Юлина: множественные осколочные, контузия, почти полная слепота. Он злой, упрямый, зависит от неё больше, чем от кого-либо. Между ними возникает то, что нельзя называть работой — и пока нельзя называть любовью. Потому что он пациент. Потому что она боится перепутать жалость с желанием, а его — с погибшим братом. Потому что рядом его мать, которая видит в Оксане угрозу. Военная драма о вине выживших, зависимости и границах, которые приходится выстраивать заново. 18+.

© Пахотин М., 2026

© Автор, 2026

Бесперспективный холод. Осколки света

Осколки света

Глава 1. «Осколки»

Кровь под ногтями не отмывалась.

Оксана тёрла руки жёсткой щёткой, пока щетина не начала расползаться белыми волокнами, и всё равно видела под ногтем среднего пальца тонкую бурую кайму. Будто кто-то провёл кистью и забыл стереть. Вода в раковине была ржавой, пахла хлоркой и металлом. Краны здесь никогда не работали как надо.

Она выключила воду, вытерла руки бумажным полотенцем. Оно размокло и прилипло к ладоням, оставив на коже серые хлопья. За окном занимался серый луганский рассвет — пыльный, безрадостный. Во дворе уже гремел железом санитар, таскал носилки. Пахло варёной кашей и кровью. Госпиталь просыпался.

Оксана работала здесь восьмой месяц. До этого был Наро-Фоминск, подстанция скорой, сутки через двое, и жизнь, которая тогда казалась ей сложной и полной. Теперь она вспоминала ту жизнь с недоумением, как чужую. Будто смотрела старое кино, где главная героиня — наивная девчонка — улыбалась в камеру, не зная, что через пару кадров её мир сгорит дотла.

В Наро-Фоминске всё было просто. Городок, где она родилась, где знала каждую улицу, где в аптеке на углу ей говорили: «Оксанка, привет», — и спрашивали про маму. Мамы не было пять лет. И папы не было.

Они погибли в августе, на Киевском шоссе: фура, лопнувшее колесо, встречная полоса. Оксана тогда заканчивала медицинское училище и уже подрабатывала на скорой. В тот вечер она была на дежурстве. Вызов пришёл, но их экипаж отправили на другой адрес — кто-то из диспетчеров, слышавший номер машины и фамилии пострадавших, успел сообразить и не пустил её туда.

Потом была комната в морге. Холод. Кафель на полу, по которому скрипели подошвы. Двое, накрытые простынями. Оксана стояла и не могла заставить себя откинуть ткань. Руки не слушались, будто налились свинцом. Дмитрий откинул. Ему было двадцать, он учился на юриста. Он смотрел на их лица и молчал. Потом взял её за руку — крепко, до хруста в пальцах — и сказал:

— Пойдём, Оксан. Мы теперь вдвоём.

Они были погодками. В детстве их путали, принимали за двойняшек. Оксана была старше на одиннадцать месяцев и всю жизнь чувствовала за него ответственность. Дмитрий был упрямый, весёлый, с вечной ухмылкой и привычкой влезать в драки за тех, кого обижали. Отец говорил: «Димка — это пожар. А Оксана — вода».

Вода, которая теперь не могла потушить собственное горе.

После похорон они остались вдвоём в квартире на втором этаже: три комнаты, кухня с жёлтыми обоями, балкон, где мама сушила бельё. Оксана закончила училище, осталась работать на скорой. Дмитрий доучился, получил диплом юриста. А через месяц его призвали в армию.

Он вернулся из части на пару дней — ходил взволнованный, молчал, а потом однажды вечером набрался смелости и сказал:

— Я подписал контракт.

Оксана как раз мыла посуду. Чашка выскользнула из рук и разбилась. Звук был резким — слишком резким для кухни.

— Ты с ума сошёл? — Она повернулась к нему, вытирая руки о полотенце. — Тебя же только призвали. У тебя диплом. Ты же юрист. Зачем?

Он пожал плечами. Ухмыльнулся — этой своей ухмылкой, от которой у неё всегда сжималось сердце.

— Не хочу сидеть в офисе. Хочу настоящего.

— Настоящего? — Она повысила голос. — Дим, там война. Ты что, не понимаешь?

— Понимаю, — сказал он тихо. — Поэтому и иду.

Она кричала на него. Плакала. Угрожала. Он обнял её, прижал к себе, погладил по голове — как всегда, когда она злилась.

— Я вернусь, Оксан. Обещаю. Год-два — и вернусь.

Он ушёл через две недели. Она провожала его на вокзале, сунула в рюкзак тёплые носки и шоколадку, хотя было лето. Он смеялся. Целовал её в макушку. Говорил: «Не реви, я же сказал — вернусь».

Он служил почти два года. Звонил раз в неделю — коротко, бодро. Присылал фотографии: он в форме, он с сослуживцами, он на фоне поля, леса, полуразрушенных домов, в какой-то землянке. Оксана смотрела на них и не узнавала его: он был шире в плечах, старше, с другим взглядом. Приезжал в отпуск дважды. Первый раз — похудевший, загорелый, с новыми татуировками на предплечье. Второй — молчаливый, с синими кругами под глазами. Он не рассказывал, что видел. Она не спрашивала.

Потом был Купянск.

Ей позвонили в феврале. Незнакомый мужской голос — сухой, казённый. Спросил: «Есаулова Оксана Андреевна?» Она сказала: «Да». И услышала слова, которые потом ещё долго звучали в ушах, как колокол:

— Ваш брат, Есаулов Дмитрий Андреевич, погиб при исполнении воинского долга.

Она не помнила, как положила трубку. Не помнила, как оказалась на полу в коридоре. Помнила только, что держала в руках его фотографию — ту, где он смеётся на фоне поля, — и не могла разжать пальцы. В горле стоял ком, но слёз не было. Только сухая, выжигающая пустота.

Похороны были закрытые. Цинковый гроб не открывали. Ей сказали: не надо, не нужно, так лучше. Она стояла у могилы, держала в руках горсть мёрзлой земли и думала: он обещал вернуться. Он обещал.

После похорон прошло четыре месяца. Оксана продолжала работать на скорой. Возвращалась в пустую квартиру, где всё напоминало о нём: его кружка на полке, его куртка в шкафу, его запах — смесь пороха и дешёвого дезодоранта, который она всё ещё чувствовала, когда открывала дверь.

Она не могла больше ездить на вызовы. Не потому, что боялась крови — крови она как раз не боялась. Потому что каждый вызов был похож на тот, февральский. Телефон, короткий адрес, сирена — и где-то внутри неё снова натягивалась струна: сейчас скажут фамилию. Сейчас. Сейчас.

Она ушла со скорой в июне. В военкомате ей предложили госпиталь в Луганске. Медсестра, военнослужащая по контракту. Подруга пыталась отговорить: «Ты с ума сошла, зачем тебе это». Оксана не слушала. Она не могла вернуть брата. Но она могла делать то, что делал бы он, — быть там, где нужна помощь. Это была не жертва. Это было проще, чем сидеть в пустой квартире и слушать тишину.

Госпиталь в Луганске размещался в старом здании бывшей школы. Три этажа, широкие коридоры, высокие потолки, окна с видом на двор с чахлыми деревьями. Здесь пахло не школой — здесь пахло всем сразу: хлоркой, кровью, гноем, лекарствами, чужим потом и табаком. Запах был плотный, въедливый — он пропитывал волосы, одежду, кожу. Оксана перестала его замечать через неделю.

Она жила здесь же, в маленькой комнате на третьем этаже, вместе с ещё тремя медсёстрами. Старшую звали Наташа — женщина лет сорока, молчаливая, с вечной кружкой в руках и привычкой курить у приоткрытого окна, даже когда на улице было холодно. Койки, тумбочки, чайник, который никогда не выключался. Ночью из палат доносились стоны и кашель, скрип

каталок, ругань санитаров. Оксана привыкла спать под эти звуки. Иногда ей казалось, что она уже не сможет спать в тишине.

Работы было много. Палаты не пустовали — одних выписывали или отправляли дальше, в тыл, на других местах занимали новые. Осколочные, пулевые, минно-взрывные. Ампутации. Контузии. Ожоги. Молодые парни, почти мальчишки, и мужики постарше — все с одинаковым взглядом, будто они вернулись откуда-то, откуда не возвращаются.

Оксана работала в перевязочной, ассистировала хирургу, дежурила в палатах. Хирург — Павел Аркадьевич Гринько, полноватый, с седыми усами и вечными кругами под глазами — называл её «дочка» и доверял больше, чем иным врачам. Она не обижалась. Она знала, что он видит в ней не только медсестру, но и человека, который не сломается.

А ещё она выезжала в прифронтовые госпитали. Раз в месяц, иногда чаще — на неделю, на две. Полевые палатки, брезент, грязь, отсутствие воды и света, раненные на носилках, поставленных прямо на землю. Там было страшнее, чем здесь. Но там она чувствовала себя нужнее.

В то утро она не успела допить чай. Только налила кипятка в кружку, только села на подоконник в ординаторской — и услышала:

— Трёхсотые! Много! Тяжёлые — на второй этаж!

Голос санитаря, бегущего по коридору. Оксана поставила кружку. Чай расплескался. Она уже шла.

«Трёхсотые» на госпитальном сленге означало раненых. Тех, кого только что привезли. Среди них — тяжёлые, те, у кого счёт шёл на минуты.

Двор заполнялся машинами. Тяжёлые «Уралы» с брезентовыми тентами, «буханки», санитарный «Хайс» с разбитым стеклом. Они въезжали один за другим, останавливались, из кузовов начинали выгружать носилки.

Оксана выскочила во двор. Утро было серым, пыльным. Воздух дрожал от рёва моторов. Она схватила край носилок, которые выгружали из ближайшего «Урала».

— Куда? — крикнула она.

— Второй этаж, перевязочная! — отозвался санитар.

Носилки были тяжёлые. На них лежал парень без сознания, с замотанной головой, кровь проступала через бинты бурыми пятнами. Она помогла занести его в коридор, положить на каталку. Кто-то уже бежал с другой стороны, кто-то кричал, кто-то командовал. Голоса смешивались в один гул.

Она работала быстро, как её учили. Осмотреть, оценить, рассортировать. Кого-то сразу в операционную, кого-то в перевязочную, кого-то — в палату, подождать. Кого-то — в морг, но об этом она старалась не думать. Потом.

Кровь была везде. На полу, на носилках, на её руках, на халате. Она не замечала. Она видела только раны — рваные, глубокие, с торчащими осколками, с обугленной кожей, с раздробленными костями. Она обрабатывала, останавливала кровотечение, накладывала жгуты. Руки делали всё сами, без её участия.

К полудню двор был пуст. Всех разобрали. Оксана стояла в коридоре, прислонившись к стене, и смотрела на свои руки. Они дрожали. Она сжала их в кулаки, потом разжала. Потом снова сжала.

— Есаулова! — окликнул её Павел Аркадьевич, выходя из операционной. Он был в фартуке, заляпанном кровью, и вид у него был измученный. — Там ещё один остался. В третьей палате. Посмотри.

— Что с ним?

— Младший лейтенант. Командир огневого взвода. Множественные осколочные, контузия, глаза. Сейчас стабилен, но тяжёлый. Перевязки, наблюдение. И... — он помолчал. — Он почти ничего не видит. Свет и тени. Окулист был, сказал — повреждение тяжёлое, нужна дина-

мика. Консультацию нейроофтальмолога обещали, но когда — неизвестно. Пока — смотри сама.

Она кивнула и пошла в третью палату.

Палата была небольшой — на четыре койки. Три пустые, с застеленными серыми одеялами. На четвёртой, у окна, лежал он. Голова забинтована, глаза закрыты повязкой, левое плечо и правая нога тоже в бинтах. Молодой. Очень молодой. Может, чуть старше её. Тёмные волосы, упрямый подбородок, плотно сжатые губы.

Он дышал тяжело, но ровно. Руки лежали поверх одеяла, и она заметила, как пальцы сжаты в кулаки — до белых костяшек. Он был в сознании. Она поняла это по тому, как он повернул голову на звук её шагов.

— Кто здесь? — спросил он. Голос хриплый, сорванный.

— Медсестра, — сказала она. — Оксана. Я буду за вами ухаживать.

Он чуть повернул голову, будто пытался поймать её взглядом сквозь бинты.

— Сергей. Младший лейтенант Юлин.

— Знаю, — она подошла к койке, взяла его карту, висящую на спинке. — Командир огневого взвода. Множественные осколочные ранения. Контузия. Повреждение глаз.

— Я не вижу, — сказал он. Не вопросом, утверждением.

— Пока не видите, — поправила она. — Врачи сделали всё возможное. Дальше — время и обследование.

Он выдохнул через нос — коротко, зло.

— Время. Любимое слово.

Она поставила карту на место. Присела на край койки.

— Вы можете пошевелить пальцами? На правой руке.

Он пошевелил. Медленно, с усилием.

— Хорошо. Теперь левой. Только осторожно, у вас рана на плече.

Он попробовал. Вздрыгнул от боли, но пальцы шевельнулись.

— Хорошо, — повторила она. — Значит, руки работают. Нога?

Он попробовал приподнять правую ногу. Она остановила его, положив ладонь на одеяло.

— Не надо. Я сама посмотрю. Позже.

Он откинулся на подушку. Молчал. Она смотрела на него — на его сжатые кулаки, на упрямый подбородок, на то, как он держит голову. Что-то в нём было знакомое. Не лицо — лица она почти не видела. Что-то в том, как он держался, как сжимал кулаки, как не жаловался.

Она не сразу поняла, что это. А потом поняла: так держался Дмитрий. Молодой, упрямый, злой на весь мир. Такой же.

Она встала.

— Я принесу вам воды. И обезболивающее. Потом сделаю перевязку.

— Спасибо, — сказал он. И добавил тише: — Оксана.

— Да?

— Вы давно здесь работаете?

Она задержалась в дверях.

— Восемь месяцев.

— И как вы это выдерживаете?

Она посмотрела на него — на его забинтованные глаза, на его сжатые кулаки. И ответила честно:

— Не знаю. Привыкла.

Она вышла из палаты. В коридоре прислонилась к стене и закрыла глаза. Руки всё ещё дрожали. Она сжала их в кулаки — так же, как он. И пошла за водой.

Глава 2. «Беспомощность»

Первые дни Сергей не понимал, где кончается сон и начинается явь. Промедол разливался по телу тёплой волной, уносил боль, но вместе с болью уносил и время. Он проваливался в темноту, выныривал, снова проваливался. Иногда ему казалось, что он всё ещё там — на позиции, у орудия. Он слышал свист, кричал: «В укрытие!» — и просыпался от собственного голоса. Сердце колотилось где-то в горле, повязка на глазах намокала от пота.

В такие минуты рядом всегда оказывалась Оксана. Он не слышал, как она входила, — она появлялась беззвучно, будто ждала за дверью. Её рука ложилась на его плечо, прохладная и твёрдая.

— Всё, всё, — говорила она тихо. — Ты здесь. Ты в госпитале. Всё позади.

Он хотел сказать, что ничего не позади. Что всё это — и свист, и грохот, и горячие осколки — всё ещё внутри него. В костях, в мышцах, в голове. В том месте, где раньше была уверенность. Но вместо слов выходил хрип, и она подносила к его губам кружку с водой. Вода была тёплая, с металлическим привкусом. Он пил жадно, захлёбываясь, и она придерживала его за затылок, как ребёнка.

— Медленнее, — говорила она. — Не спеши.

Он не мог спешить. Он вообще ничего не мог.

К третьему дню он начал понимать, насколько беспомощен. Правая нога — в гипсе от бедра до пятки, тяжёлая, чужая. Левое плечо забинтовано, рука висела как плеть. Грудная клетка прострелена осколками, каждый вдох отдавался болью под рёбрами. А глаза забинтованы, и мир вокруг него сузился до звуков, запахов и прикосновений.

Он не мог сесть. Не мог повернуться на бок. Не мог даже приподнять голову, чтобы попить, — и Оксана подносила кружку к его губам, и он пил, чувствуя себя стариком, инвалидом, куском мяса на койке.

Но хуже всего было то, что он не мог даже понять, где находится. Он слышал голоса, шаги, скрип каталок, но не знал, с какой стороны дверь, где окно, далеко ли до стены. Один раз он попытался дотянуться до тумбочки — на звук, где, как ему казалось, стояла кружка, — и сбил её. Вода разлилась, кружка покатилась по полу. Он лежал, слышал, как она катится, и не мог ничего сделать. Только ждать, когда кто-нибудь придёт.

Пришла Оксана. Подняла кружку, вытерла пол. Ничего не сказала.

— Я не специально, — сказал он.

— Я знаю.

— Я не вижу, куда тянусь.

— Я знаю, — повторила она. — Поэтому я переставлю тумбочку ближе. И кружку поставлю с краю. Ты сможешь до неё дотянуться, если будешь тянуться правой рукой.левой пока нельзя — плечо.

Он замолчал. Она не пожалела его. Не сказала «бедный». Она просто передвинула тумбочку и поставила кружку так, чтобы он мог до неё дотянуться. И от этого ему стало легче, чем от любых слов.

Самое унижительное началось на второй день. Он лежал, стиснув зубы, и ждал. Он знал, что это случится. Он надеялся, что обойдётся. Но тело было сильнее его гордости.

— Оксана, — позвал он тихо.

Она подошла сразу. Он услышал её шаги.

— Что случилось?

— Мне нужно... — он замолчал, не в силах произнести. — В общем... мне нужно в туалет.

Она не засмеялась, не вздохнула, не сказала ничего такого, от чего ему стало бы ещё хуже. Просто сказала:

— Сейчас.

Он услышал, как она отходит, как что-то достаёт — шуршание, металлический звук. Вернулась. Он почувствовал, как она откидывает одеяло.

— Я помогу тебе. Ты только повернись немного на бок, насколько можешь. И подними таз.

Он попытался. Боль пронзила бок, ногу, плечо. Он застонал.

— Тихо, тихо. Не напрягайся. Давай я сама.

Она подсунула под него судно — холодное, металлическое. Он лежал, глядя в темноту, и чувствовал, как горит лицо. Он — офицер, командир взвода, мужик — лежит под себя, и молодая девчонка помогает ему сходить в туалет. Он хотел провалиться сквозь землю. Он хотел умереть.

— Не смотри, — сказал он хрипло.

— Я не смотрю, — ответила она спокойно. — Я работаю.

Когда всё закончилось, она убрала судно, вытерла его влажной салфеткой — прохладной, пахнувшей чем-то лекарственным, — и снова накрыла одеялом. Он лежал, вцепившись пальцами в край одеяла, и молчал.

— Сергей, — сказала она.

— Что?

— Это нормально. Ты ранен. Ты не можешь ходить. Это не твоя вина.

— Я знаю, чья это вина, — сказал он. — Моя. Я должен был увести их раньше.

— Ты никого не потерял. Твои ребята живы. Все.

Он не ответил. Он не знал, правда ли это. Он не помнил, что было после взрыва. Ему говорили, что всех вытащили, что потерь нет, но он не верил. Не мог верить. Потому что если бы он командовал лучше, если бы почувствовал, если бы успел...

— Откуда ты знаешь? — спросил он.

Она помолчала. Он услышал, как она переступила с ноги на ногу — коротко, будто собиралась уйти и передумала.

— Мне сказали, — ответила она. — В приёмном. Санитары говорили, что всех вытащили. Потерь нет.

— Ты видела списки?

— Нет. — Слишком быстро. Потом мягче: — Я не запоминала фамилий. Я запоминала, кого надо вытащить. Тебя вытащили. Значит, и остальных тоже.

Он хотел спросить ещё что-то. Хотел поймать её на слове. Но голос у неё был ровный, слишком ровный, будто она читала по бумажке. И он вдруг понял, что если сейчас надавит — она замолчит. А ему нужно было хоть во что-то верить. И он выбрал верить ей.

— Рябухин жив? — переспросил он.

— Жив, — сказала она. — Контужен, но жив.

Она сама не знала, жив ли Рябухин. Она не знала ни фамилий, ни числа. Она сказала это, потому что он тонул. Потому что в его голосе было то же, что у всех, кто просит: «скажи, что всё хорошо». И она сказала. Соврала. И соврала бы снова.

Он медленно выдохнул. Впервые за несколько дней ему показалось, что воздух в палате стал чуть легче.

Он отвернулся — насколько мог. В темноте под повязкой не было ни стен, ни окна, ни её лица. Только тьма. Но в этой тьме было что-то, за что можно было держаться. Её голос. Тонкая нить, связывающая его с миром живых.

На третий день в палату привезли первого соседа.

Сергей услышал, как гремит каталка, как санитары ругаются у двери — что-то про койку у окна, — и как что-то тяжёлое перекадывают с носилок на матрас. Потом шаги. Потом голос — молодой, хриплый, с усмешкой:

— Ну и бардак у вас тут. Хоть бы окно открыли.

Сергей повернул голову на звук.

— Ты кто?

— Пашка. Курочкин. — Пауза. — А вы?

— Сергей. Юлин. Младший лейтенант.

— О, командование, — присвистнул Пашка. — Предупреждаю сразу: я храплю. И шучу плохо. Так что терпите.

— Придётся. Я всё равно не встаю.

— Ну вот и договорились.

«Командование» Пашка сказал с усмешкой. Сергей не стал поправлять. Младший лейтенант — звание настоящее, но взвод у него был маленький, и на позиции он не сидел в блиндаже с картой: проверял наводку, следил за снарядами, знал каждого в расчёте по имени. В карте значилось «офицер», и Павел Аркадьевич называл его по званию. Для Пашки это было поводом для шутки, не более.

Пашка привык за день. К вечеру Сергей знал о нём больше, чем хотел: что он из-под Авдеевки, что осколок вошёл в бедро и застрял где-то у кости, что ногу собираются «переломать», что дома у него мать и сестра, что он умеет свистеть через дырку в зубе и делает это, когда нервничает. Последнее Сергей понял сам — по звуку.

Следующим утром привезли майора. Тот не сказал ни слова. Только спросил у санитаров, где тут розетка, — и всё. Его положили у стены, ближе к двери, и он там лежал, молча, как мебель.

— Он контуженный, — шепнул Пашка. — Говорят, у него дочь в Луганске. Приедет — может, заговорит.

— А ты откуда знаешь? — спросил Сергей.

— Санитары треплются. — Пашка помолчал. — А вы, лейтенант, откуда?

— Артиллерия. Взвод. Купянское направление.

— А я связист. — Пашка засмеялся, потом закашлялся. — У нас в палате теперь все рода войск.

Сергей ничего не ответил. Полежал, слушая, как Пашка возится с костылём, как майор дышит у стены. Потом спросил:

— Пашка. Артиллеристов с Купянского направления не привозили?

— Не знаю. — Пашка помолчал. — Я тут второй день. Спрошу у санитаров.

— Спроси.

Но Пашка не спросил. Или спросил, да не сказали. Через два дня он уже скакал на костылях по коридору и доставал всех своими шутками, а Сергей так и не узнал, где его ребята. Он знал только, что они живы — так сказала Оксана. Он заставил себя верить, что она знает. Но иногда, ночью, когда становилось слишком тихо, он ловил себя на том, что считает: а если она соврала? Если не знает? Если просто сказала, чтобы он не сошёл с ума?

На четвёртый день привезли Костю. Тот почти не говорил — только стонал во сне. У него были ожоги на шее и руках, и пахло от него чем-то жжёным, сладковатым, и этот запах Сергей узнал сразу, хотя никогда не думал, что запомнит его.

В тот же день Оксана пришла снимать бинты с плеча. Обезболивающее уже урезали — не потому, что стало легче, а потому, что его не хватало на всех. Кололи только самым тяжёлым. Сергею оставляли таблетки и укол на ночь. Он терпел.

Но когда она начала снимать старые бинты, боль проснулась, как зверь. Она липла, царапала, рвала. Он стискивал зубы так, что скрипели, и дышал через нос — глубоко, часто, как учили на занятиях по тактической медицине. Это не помогало.

— Сейчас, — сказала Оксана. — Потерпи. Я быстро.

Он чувствовал, как она обрабатывает рану — ватным тампоном, смоченным чем-то жгучим. Он хотел закричать. Он хотел оттолкнуть её. Он хотел, чтобы всё это прекратилось.

И вдруг темнота стала другой. Гуше. Глубже. Он провалился.

Он снова был там. Расчёт на позиции — орудие, ящики со снарядами, маскировочная сеть над головой. Утро, серое, пыльное. Пахло порохом и соляжкой. Илья — молодой, рыжий, с вечной ухмылкой — тащил снаряд к орудию. Кричал что-то про то, что сегодня их сменят, что он хочет есть, что командир обещал отпуск.

Сергей стоял у орудия с планшетом, смотрел на горизонт. Он чувствовал — что-то не так. Слишком тихо. Слишком спокойно. Он поднял руку, приказывая остановиться. Илья замер. Все замерли.

А потом — свист. Тот, который не спутаешь ни с чем. Тонкий, нарастающий, как будто кто-то разрывал небо. Он успел крикнуть: «В укрытие!» — и мир вспыхнул. Осколки — горячие, злые — впились в тело. Он почувствовал каждый: в ногу, в плечо, в грудь, в лицо. Он упал на спину, и небо над ним стало чёрным. А потом и оно исчезло.

Он пришёл в себя от боли. Оксана всё ещё была рядом. Её руки двигались быстро, уверенно — она накладывала новый бинт.

— Тише, — сказала она. — Всё, уже почти.

— Я был там, — прохрипел он. — В бою. Я видел. Илью видел.

— Знаю, — ответила она. — Ты кричал.

Он замолчал. Ему стало стыдно. Он — офицер, командир — кричал, как мальчишка. Он стиснул зубы, чувствуя, как ногти впиваются в ладони.

— Это нормально, — сказала Оксана, будто прочитала его мысли. — Все кричат. Даже генералы.

— Ты видела генералов? — спросил он, чтобы сменить тему.

— Видела, — ответила она. — Один раз. Привезли с осколочным в живот. Кричал так, что стёкла звенели.

Он усмехнулся. Впервые за много дней. Она закончила с повязкой, поправила одеяло.

— Отдохни, — сказала она. — Я приду через два часа.

— Оксана.

— Да?

— Спасибо.

Она помолчала. Потом сказала:

— Не за что. Я работаю.

И ушла.

Он лежал и думал о том, что она сказала. «Я работаю». Он знал это. Она была медсестрой, он был пациентом. Она делала свою работу. Но когда она касалась его — руки, плеча, груди, — он чувствовал не только прикосновение. Он чувствовал, что она видит в нём не просто раненого. Может, это было самообманом. Может, он придумывал. Но в темноте под повязкой не было ничего другого. Только её голос. Только её руки. Только её «тише, тише, я рядом».

Он начал запоминать её. Не лицо — он не видел лица. Её шаги. У неё была лёгкая походка, но усталая — она шла быстро, но не спеша, будто привыкла к тому, что её всё время зовут. Её дыхание. Когда она наклонялась над ним, он слышал, как она дышит — с едва заметной хрипотцой, будто когда-то давно простудилась и не долечилась. Её запах. Мыло, табак и что-то ещё — тёплое, живое, как разогретая на солнце кожа.

Он не говорил ей об этом. Он просто запоминал. Потому что это было единственное, что у него было.

Пролежни начались на второй неделе. Он лежал неподвижно, и кожа под гипсом, под повязками, на спине, на крестце — начала преть. Он чувствовал это по запаху — сладковатому, тошнотворному. Он чувствовал это по зуду — нестерпимому, глубокому, который нельзя было унять. Он чувствовал это по тому, как Оксана, осматривая его, хмурилась.

— Плохо, — сказала она однажды утром. — Надо чаще обрабатывать.

— Регламент — два раза, — сказал он. — Я слышал, как ты говорила с врачом.

— Регламент — для здоровых, — ответила она. — У тебя кожа как бумага.

Она стала приходить четыре раза в день. Иногда — пять. Она переворачивала его на бок — осторожно, поддерживая ногу, плечо, голову. Она обрабатывала кожу камфорным спиртом — жгучим, отрезвляющим. Она подкладывала под него специальные подушки — мягкие, пахнущие чем-то травяным. Она растирала ему спину, ноги, руки — сильно, до красноты, чтобы кровь бежала быстрее.

Это было унижительно. Он лежал, беспомощный, и она возилась с ним, как с ребёнком. Но он терпел. Потому что знал: если не терпеть, будет хуже. Гниение — это запах. Это боль. Это ещё большее унижение, чем беспомощность.

— Почему ты приходишь четыре раза? — спросил он однажды. — Другие медсёстры так не делают.

Она помолчала. Потом ответила:

— Потому что я видела, как это бывает. Когда запускают. Человек сгнивает заживо. Я не хочу, чтобы это случилось с тобой.

— Почему? — спросил он. — Тебе-то что?

Она не ответила. Он услышал, как она отходит к окну, как открывает створку. Потом — щелчок зажигалки. Он представил, как она стоит там, у окна, в свете серого луганского неба, и курит. Он не видел её, но почему-то знал, что она курит.

— Ты похож на моего брата, — сказала она наконец. — Он был такой же. Упрямый. Злой. Не любил, когда его жалели.

Сергей замер. Вот оно. То, что он чувствовал, но не мог назвать. Она смотрела на него и видела кого-то другого.

— Где он сейчас? — спросил он.

Она помолчала ещё дольше. Потом сказала тихо:

— Погиб. На Купянском направлении. Год назад.

Сергей не знал, что сказать. Он слышал, как она дышит — сдерживается, будто держит себя в руках.

— Мы рано потеряли родителей, — продолжила она. — Я и он. Он был младше на год. Я за ним смотрела, как за своим. А потом он вырос, пошёл служить. И не вернулся.

— Прости, — сказал Сергей.

— Не надо. Ты не виноват.

Она закрыла окно, вернулась к его койке. Он почувствовал, как она садится рядом.

— Я не хочу, чтобы ты сдался, — сказала она. — Слышишь? Не хочу. Ты не он. Ты живой. Ты можешь вернуться. И ты вернёшься.

Он молчал. В горле стоял комок. Он не знал, что сказать. Он не знал, что чувствовать. Он только знал, что впервые за много дней ему не хочется умереть.

— Оксана, — сказал он.

— Да?

— А если я не вернусь? Если я останусь слепым?

Она помолчала. Потом сказала:

— Тогда ты будешь слепым, который жив. Это лучше, чем мёртвый.

Он не нашёл что ответить. Но что-то в нём сдвинулось. Как будто внутри стало чуть больше воздуха.

Шли дни. Он научился различать время по звукам. Утро — это лязг каталок и запах каши. День — это голоса врачей, шаги по коридору, радио в ординаторской. Вечер — это тишина, которая приходила постепенно, как будто кто-то выключал свет в соседних палатах. Ночь — это стоны, кашель и шаги Оксаны.

Она приходила к нему даже ночью — проверяла повязки, меняла положение, поправляла подушку. Он просыпался от её прикосновений и делал вид, что спит. Ему было стыдно, что она возится с ним. Но в то же время он ждал этих прикосновений. Они были единственным, что связывало его с миром.

Однажды ночью, когда она меняла ему повязку на плече, он спросил:

— Ты не устаёшь?

Она помолчала.

— Устаю.

— Почему тогда не уходишь? Тебе же не обязательно возиться со мной.

Она не ответила сразу. Он услышал, как она отрезает бинт, как разглаживает его на коже.

— Потому что ты живой, — сказала она. — И потому что я могу помочь. Это всё, что у меня есть.

Он не понял, что она имеет в виду. Но что-то в её голосе — глухое, упрямое — заставляло его замолчать. Он лежал и слушал, как она дышит. Как человек, который давно научился держать себя в руках.

— Оксана, — сказал он тихо.

— Да?

— Я не сдамся.

Она помолчала. Потом сказала:

— Хорошо.

И ушла.

А он лежал в темноте — под повязкой, под одеялом, в темноте, которая стала чуть менее плотной. Потому что где-то там, за дверью, была она. И этого было достаточно, чтобы дышать.

Глава 3. «Чужой голос»

Утро началось с грохота в коридоре. Сергей уже научился различать звуки госпиталя: вот катится тележка с лекарствами — лёгкий металлический перезвон; вот идёт санитар — тяжёлые шаги, шарканье; вот бегут на приём — быстро, тревожно, с криками. Но этот грохот был другим. Тяжёлым, частым, как будто по полу волокли что-то большое и не хотели этого делать.

Он повернул голову на звук. Под повязкой было темно, как всегда. Но он слышал.

— Быстрее! Быстрее! — голос Павла Аркадьевича, сорванный, злой. — В операционную! Немедленно!

— Давление падает! — это женский голос, не Оксаны. Молодой, испуганный. — Сто на шестьдесят, и падает!

— Кровь! Две дозы! Живо!

Двери хлопали. Каталка гремела. Кто-то кричал от боли — не словами, а звуком, глубоким, животным. Сергей вцепился в одеяло. Он знал этот звук. Он сам так кричал, когда его тащили из-под огня.

— Саньку из третьей привезли, — сказал кто-то в коридоре. — Живот. Совсем плохой.

— Кто такой Саня? — спросил Сергей.

— Молодой, из пехоты, — отозвался Пашка. — Говорят, тяжёлый. Живот пробит.

Он ждал, что придёт Оксана. Она всегда приходила утром — проверить повязки, дать воды, сменить положение. Но она не пришла. Он слышал её голос в коридоре — быстрый, собранный. Она говорила с врачом, с санитарями, с кем-то ещё. Потом её шаги удалились в сторону операционной.

Пашка один раз сунулся было к двери — «я сейчас её позову, она в операционной» — но Сергей сказал: «Не надо». И Пашка не пошёл. Он вообще оказался понятливее, чем выглядел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.